



rocketbook

ВЛАДИМИР МАКАНИН

*Предтеча*



Владимир Маканин

# **Предтеча**

«ЭКСМО»

## **Маканин В. С.**

Предтеча / В. С. Маканин — «Эксмо»,

«Предтеча» – одна из самых светлых и окрашенных в тона надежды повестей классика русской современной литературы Владимира Маканина. Она рассказывает о талантливом враче-самородке Сергее Якушкине, о его жизни и смерти, родных и знакомых, друзьях и врагах. О том, что подлинный талант может проявиться лишь на пути служения людям.

© Маканин В. С.

© Эксмо

# Содержание

Глава 1	5
1	5
2	11
3	17
4	22
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# Владимир Маканин

## Предтеча

### Глава 1

#### 1

Помимо своей чудовищной говорливости, Якушкин передавал энергию внешне совсем просто, и, может быть, слишком просто – из рук в руки; делалось же это втиранием, делалось не всегда и не направо-налево, а исключительно в кризисные ночи, когда умирающий – умирает. Но только чудо исцеления совершалось, *отчудивший* Якушкин тут же и по каким-то своим знахарским причинам вновь спешил отдалиться и уйти, оставив больного в одиночестве. Приезжая, он лишь навещал: через день, и два, и вот уже через три. Он входил, и, едва слышались его бухающие шаги, больной в постели трепетал и дергался, как трепещет и дергается телом молоденькая женщина перед объятьями; лежащий, он запрокидывал голову, чтобы видеть входящего Якушкина, и, слабо вскрикивая, уже тянул издалека руки к рукам.

Якушкин, перетоптавшись возле постели, садился; он не спешил: мину-две старый знахарь не видел больного, и взгляд его застывал; упершись глазами в паркетину пола или в стертый рисунок коврика, старик надувался: казалось, он выродит сейчас от натуги некое огромное яйцо, может быть, птенца. Глаза у него округлялись. Он багровел. Склоняясь к больному, мелко и зажданно подрагивающему от нетерпения, знахарь брал наконец ладони его в свои и ласково говорил, хотя в ласковости была и всегда таилась припрятанная угроза:

– Ну, будешь за жизнь бороться? – И смеялся стариковским, погромыживающим вдруг смешком.

Поначалу хватало ему и ласковости, и такта: во всяком случае, не сразу напоминал он умирающему, что тот подонок и скот и что болезнь свою и беду не только заслужил, но еще и недобрал в ней: повезло. Неизменно доброжелательный в первые минуты, Якушкин не говорил умирающему, что тот, если уж по совести, давным-давно должен прикармливать собой червей. Знахарь кивал и даже подкупающе улыбался, показывая желтые стариковские зубы. Лишь после, расспросами вызвав и выманив (или же просто выждав) минуту человеческой слабости, он начинал орать и грубо тыкать: «Чего, чего, сука, хнычешь – думай-ка лучше, в чем перед природой провинился. Ну?.. Небось жрал чрезмерно? Небось на должности лез, отпихивая локтями? Блядовал? Пил?!» – орал Якушкин, а больной, застигнутый и доверившийся, в немоги наскоро соглашался: мол, виновен, такая, мол, жизнь, – однако признание кивком и спешной слезой не смягчало Якушкина; более того, добравшийся до души знахарь тут только и распалялся. Над больным, теперь уже неотрывно, нависал приблизившийся и огромный стариковский череп, на котором под седыми волосами тянулся, темнея, неровный зигзагообразный шрам (в период говорливости шрам зудел, и он скреб его). Знахарь теперь говорил, бубнил безостановочно, крича больному вдруг и прямо в лицо, – и тот терпел.

Без возможности встать, или же отодвинуться, или хотя бы зажать уши, распластанный, больной лишь дергался, выкрикивая наконец истерзанно и истерично: «...Уберите его от меня, прошу! Не могу-у-у, уберите же изверга!» Изверга, однако, не убирали, никто не входил. Никто даже не заглянул, не сунул, обеспокоившийся, головы в дверь, так как жесткая мера невмешательства непременно оговаривалась с родными перед врачеваньем. Лицо в лицо Якушкин бубнил и бубнил ему свое, пока истерика больного не сламывалась и не дробилась в хныканье,

в жалобные стоны бессилья, после чего Якушкин сам же и отворачивался как бы с омерзением от жалкого и распластанного, уходя на кухню глотнуть чаю.

Якушкин так и сидел, уставившись в хлебную крошку, в россыпь крошек на кухонном столе; он вроде бы надолго здесь расположился, но совсем скоро, как и было замыслено, больной из той комнаты («Сергей Степанович!.. Сергей Степанович!..») звал его расслабленно и моляще, потому что без знахаря становилось к вечеру жутко.

Внутренняя тяга, уже приковав (приговорив) больного к этому хаму и крикуну, срабатывала; тяга оказывалась зависимостью: жалок и, конечно же, в чем-то и впрямь «перед природой виновен»; выпивал, к примеру, женщины тоже, но ведь умирающий, больной ведь, и неужели же о той сослуживице *опять* рассказывать? «Сергей Степанович!..» – расслабленно звал он и кликал, однако Якушкин приблизительных покаяний не терпел, не принимал, что и выяснялось немедленно: «Знаю! Знаю!.. Уж слышал!» (выкладывая, мол, с доньшка!) – грубо перебивал знахарь, едва войдя с кухни бухающими шагами, не успевший допить там чай. Выслушав, Якушкин начинал *дергать* его вновь, и часа через четыре больной находился в состоянии, близком к обмороку. В околообморочной глубокой слабости больной и засыпал, тогда знахарь уходил. И заметно было – Якушкин уходил, пошатываясь, тоже опустошенный: мол, все свое отдал.

Но отдал он много – не все. В полосе активной говорливости (от полутора до двух месяцев) Якушкин рта как бы и не закрывал и после длительного, яростного врачеванья был в силах сразу же идти к остановке и втискиваться и ехать, стоя в тряске автобуса, к тем *своим и любимым*, кто не разбежался, кто верил и у кого тяга к Якушкину день ото дня уже переросла в некое нешумное родство: они ждали.

Они сидели у тихого студента Кузовкина и его тихой жены Люси, в московской небольшой квартире со скромным уютом: ждали, и Якушкин, успевший набраться в автобусе новой ярости, появляясь, обрушивал голос чуть ли не из прихожей, продолжая произносить один и тот самый, неведомо когда начатый для них и ради них монолог. Неслышным (среди раскатов якушкинского голоса) шагом, не тронув и не спугнув внимающего покоя, студент Кузовкин выходил на кухню, чтобы заварить там зверобой, – заварив, он вносил его тем же неслышным шагом, удерживая в руках выцветший жостовский поднос с чашками. Впрочем, Якушкин шаг его слышал, и чашки замечал, и подмигивал всем – малая, мол, разрядка, пауза в пять минут; первый же и шутил, шутки Якушкина были примитивно детского уровня: *вот и зверобойчик – микробов убойчик!..* С подноса разбирали чашки, после чего московская квартира становилась сама собой и традиционно теплела. Чашки с горячим целебным пойлом клубились легким парком, на скатерти – вкруговую.

Зверобой пили внаклад с небольшой дозой коричневого расплавленного сахара, в котором огонь разрушил химическую основу, – все беды шли, конечно, от химии; Якушкин, как бы выпрыгивая из передышки, из тихой, в пять минут, паузы, живо и тут же подхватывал. Химия – зло, но химия сама-то откуда?.. В том и боль, что химия проникла, так как люди, хапая, забывали про совесть: люди хотели все большего и большего, отчего и нужны им стали заменители, суррогаты и видимость продукта вместо продукта. Голос Якушкина вновь набирал рокота и крика – человек, мол, в погоне за благами хапает, жадничая и мельчая индивидуально; люди прощают себе пошлость, а зря. Хапанье, загнанное вглубь и совестью не выявленное, ведет изнутри свою разрушительную, хотя и невидимую, работу – там-то и возникает поторапливание и подхлест в погоне за новыми и новыми благами. Там-то и разгоняется самый простейший наш клеточный материал – возникает рак: мщение природы за нашу гонку. Сделанные хапанья вы-то не сочли и забыли, однако же их не забыл изначально совестливый ваш организм – по счету платят, и чем больше оттесняли вы других локтями от общей кормушки, тем мучительнее ждет вас болезнь.

– Сергей Степанович, но известно ведь и другое... – Сидевшие вокруг него на стульях мало-помалу начинали скрытно и грешнически ерзать.

Не возражать они пытались, но хотя бы напомнить, вставив и ввернув словцо, чешущее язык, однако Якушкин им не отвечал и их не слышал: старик говорил сам с собой. Не отвечая, он, впрочем, несколько учел и сместил: человеческая, мол, подлость себя не знает, став столь в изощрении истонченной, что человек не всегда и понимает, что подлость; тем-то больней и тем неожиданней непонимающему расплата. Природа выждет свой час и свой урок. Куда уж проще: человек хапнул квартиру, а более нуждающийся квартиру не получил, – человек, суетный, и не заметил, что нарушил равновесие совести. Однако же узелок завязали. Сочли. И не за такими уж горами и час, и ночь, когда в прямоугольной белизне больничных стен человек, уже понимая – что, не поймет – за что. Непонимающий, будет он криком кричать, вспугивая тишь и длительность ночи, сонносварливой медсестре, которая не сразу и незадаром пришепает к нему, обламывая ампулу, со шприцем в руках: «*Сестреночка*, за что же мне это?..» – старик, передавая интонацию обреченного, ослабил. За вычетом отдельных проблесков Якушкин изъяснялся плохой, корявой речью малообразованного человека – пожалуй, и без логики, скачками. Шести– или пятичасовая речь производила на неподготовленного слушателя впечатление сумбура, если не бреда, и лишь после многократного и с доверием слушанья можно было, уловив, свести его говоренье к той мысли, что беды человеческие от самого человека; если отцедить, он говорил об этом.

Начитавшийся того и не того, надергавший себе в запас и в помощь ученых словечек, он городил, а рассыпав, городил вновь, однако же после каждого примерно десяти минут сумбура искорка, молнийка, что ли, проскакивала, убеждая привыкших и уже притерпевшихся к старику людей, что они *слышат* его. Вдруг и молнийка проскакивала: быть может, слабый отпечаток ветвистой молнии, что вспыхнула в его сознании впервые таежной зимой, когда он рыл ров. К концу шестого, иногда пятого часа Якушкин выдыхался. Заметно сглатывающий слова и целые их связки, он бормотал все тише, тише, и клевал носом, и яростно вдруг всхрапывал, склонив голову на руки и засыпая, в благоговейном общем молчании. Возникала благоговейная же ясность истощенности – и что наконец-то огонь прогорел, печь остыла. «Пужинаете, Сергей Степанович – покушаете?» – спрашивала, трогая, касаясь его плеча, тихая Люся – жена тихого Кузовкина, и это был знак всем им, тихим.

Они поднимались с мест, а Люся уводила старикана, тарачившего со сна глаза, на кухню. Там она придвигала суп с травами и чуть ли не вкладывала ложку ему в руку, осторожничая и дуя на гладь супа, не горяч ли; Якушкин ел, а они мало-помалу одевались в прихожей и расходились, шепотом выznавая перед уходом, останется ли Якушкин ночевать здесь или же его пойдут провожать: и тогда по пути к метро старика можно будет о чем-то своем и совсем личном поспрашивать. Расходились, а он доедал суп, ссутулившийся и согнутый над тарелкой.

Но огонь не весь прогорел, и Якушкин, сонливостью вдруг превозмогший, вновь торопился и вновь, стоя и трясясь в городском транспорте, ехал, чтобы увидаться и говорить: чтобы выйти, по выражению Кузовкина, на контакт с медициной. Тихий Кузовкин не был из тех, кто может или способен вывести другого на орбиту, однако он пытался. И появившийся возле них начинающий журналист Коляня Аникеев тоже пытался, из задора.

Было так: с недели на неделю оба звонили, надоедая, упрасывая, а то и умоляя полужнакомого им врача о разговоре; дневные часы врач жалел или же просто не соглашался, занят; зевая и уже утомляясь, врач говорил: «Ладно. В ночь я дежурю в больнице, пусть ваш знахарь туда и приедет», – и Якушкин, подкрепившийся супцом с травками, приезжал. Якушкин приходил, и врач сразу и почти с первой минуты понимал все, и, как частность, понимал, что для разговора к нему привели, мягко выражаясь, монолога и что никакого *разговора* не будет и не может быть. И точно: набрасываясь, знахарь для начала винил врача в приверженности к химии и химикатам, затем – в неумении лечить непростое и, наконец, в полном непонимании

и недооценке «совести, именуемой также интуицией». Монолог крепчал; время же было то и особенное, когда больница впадает в чуткий сон и когда так хрупко слышны шаги в коридорах.

В ординаторской, опустевшей к ночи, вежливый и терпеливо слушающий врач, однако, не мог выдержать более часа: он морщился, он теребил рукава и тесемки белого халата, а затем совсем уж непроизвольно подернул шеей раз и другой. Наконец врач прервал: «...Интересное было сообщение. Благодарю вас. На сегодня, мне думается, хватит», – тик же, не унимаясь, продолжал мучить шею и щеку врача. Врач встал – протянул для пожатия руку.

Уловивший ядок иронии, Якушкин со сдержанным гневом отошел в сторонку, где надевал и долго-долго застегивал свое старенькое пальто. Молчал... Под занавес и вежливости ради врач пытался *поговорить хотя бы с Кузовкиным или с Коляней, которые старикана сопровождали. Врач им высказывал (не сидя, а уже стоя и уже вполне сладив с шеей) – ну, с теорией, мол, все ясно, пусть ваш дед даст свои лекарственные смеси, я же подумаю и сведу его кой с кем из опытных в микроанализе, а там подумаем, а там посмотрим. «Сергей Степанович не дает свои смеси». – «Это почему же?» – «Сергей Степанович считает, что смеси – индивидуальные. (Пауза). Сергей Степанович для каждого больного подбирает, а также дозирует особо», – и тихий, с шелестом листьев голос Кузовкина сходил на нет.*

Врач, искренне недоумевая, пожимал плечами: «Чего же он хочет от меня? – Тут возникла еще пауза, вопрос без ответа, ибо сам Якушкин ничего не хотел: в больничную тишь на контакт с врачешкой старик потащился и поехал, чертыхающийся, лишь после долгих уговоров. – Чего он, собственно, хочет?» И еще пауза, последняя, после которой Кузовкин, заалев, шелестел совсем тихо: «Сергей Степанович хочет, чтобы приняли его метод лечения». – «Какой метод?» – «Он вам только что рассказывал». – «Ну знаете!..» – и врач шепотом, а иногда и не шепотом добавлял, что он, лично, обо всей этой галиматье думает. Якушкин же топтался в сторонке, все еще застегивая пуговицы старенького пальто, и недовольно, громко сопел. На том и расставались.

В ночь летела машина, – старик же, увозимый несолоно, бормотал и бубнил, что расплата за невежество врачешек придет неминуемо и неотвратимо, и придет она не завтра, а сегодня, расплата, мол, не бывает далеко: расплата всегда близко. Студент Кузовкин или же Коляня Аникеев предусмотрительно сажали Якушкина на заднее сиденье, с собой рядом. Таксисты, впрочем, к стариковскому бормотанью особенно не прислушивались, считая, что везут подпившего дедулю и что бормотанье его в порядке вещей; бывало, конечно, и так, что таксист, ошарашенный, полагал, что везет больного старика с сопровождающим на излечение, и что дело швах, и что не худо бы поторопиться. Коробки и кубы домов, окраинные, стояли с почти полностью погашенными окнами, и машина как бы летела – ночью и в ночь.

Таксист и впрямь вез на излечение, но не больного – врача. Больной же, в постели, в эти самые минуты уже слышал, гипнотически чуял, через ночь улавливая звуки и шорох шин приближающейся, однако еще далекой машины. Истомившийся от тяги, вскрикивая и из всякого пустяка закатывая домашним ночную истерику, больной отворачивался к стене и мертво лежал; он подымал лицо в точную и ту самую секунду, когда старик входил («Сергей Степанович! Родной ты мой, добрый ты мой!..»); легонько трепеща, выворачиваясь в постели усохшим хилым телом, он тянул ладони, как две высохшие надежды, – и сам же, за ладонями, опережая миг, тянулся ради более скорого соприкосновения с жестоким, но и милосердным источником энергии. Старик брал ладони в свои, садился – тихонько их тер; больной покрикивал, повизгивал слабеньким голоском и стихал, стихал, стихал.

\* \* \*

Говорливость сменялась молчанием; именно в молчаливые, в спокойные его дни по старой дружбе и по старой памяти Молокаевы давали Якушкину подзаработать, жалея.



Когда в каменном флигельке на окраине Москвы, где он жил, появлялся свет (первый и вернейший признак якушкинского молчания и оседлости), Молокаев и его жена говорили кому-нибудь из заказчиков: «Советуем очень!.. очень! Прекрасный мастер – и берет недорого». Званный Якушкин работал медлительно, но добротнo, а бывший подмосковный поселок к этому времени уже превратился в длинную (с курсирующим автобусом) улицу незнакомых людей, в *улицу Тополиную*, которая бурно застраивалась. В шестнадцати– и в двадцатипятиэтажные башни селились люди, и, конечно же, нужен был ремонт. «...Но только учтите (на случай делалась иногда оговорка), он больной, может говорить глупости».

Люди только и знали, что старикан и что живет на инвалидную пенсию; если же заказчик был суров или слишком разборчив, Молокаев и его жена выдавали ему информацию о Якушкине в обратном, более мягком порядке: человек, мол, тихий и болезненный, может иной раз глупость сказать... Но мастер хороший и со вкусом. И берет недорого – и неудивительно, что через год-два уже для текущего ремонта хозяева вновь старикана звали, ища через Молокаевых. На время ремонта они, как повелось, съезжали к своим друзьям, наведываясь в дом редко, так что и душевная беседа со стариканом им не грозила. К тому же потребность беседовать в Якушкине нарастала понемногу и не вдруг. Нет-нет и осторожно и даже боязливо он касался пальцами шрама на макушке; он где потирал, где гладил его, но уже прикасался – бережными движениями пальцев.

Однако в самые первые день-два-три Якушкин (говорливость в нем только-только оборвалась) ремонтировать не мог: он лежал во флигельке и, обессиленный, постанывал. Он был жалкий и, конечно, никого не хотел видеть. Сами себя обманывая легко, верные якушкинцы объясняли в эти дни друг другу, что Сергей Степанович самоуглублен и что, уединившись, обдумывает новые лекарственные смеси, – он же ничего не обдумывал, был пуст и полумертв. Он был похож на большое животное. Он лежал сутки, и двое, и трое, затекая телом, на неряшливо прибранном топчанчике, который он соорудил себе из кровати, постелив доску к доске взамен прорвавшейся панцирной сетки. От непрерывного полусна голова была тяжелая; еле переставляя ноги, он выходил, он был в силах доковылять только до близких кустов смородины. Участочек, что вокруг флигелька, был игрушечен и мал, рядом же, и впритык, начинался и длился высокий светлый забор, за которым раскинулся участок куда больше: там в центре красиво смотрелась большая дача-дом, когда-то построенная его же руками. Там он жил, от той жизни ему остался каменный флигелек; он не думал об этом; может быть, и не помнил. В памяти его были (чернели?) провалы от и до – и вновь от и до.

Лаяла собака. Пока Якушкин, вялый и смурной, топтался у смородины, она лаяла беспрерывно из-за светлого того забора – старик возвращался, валился на свой жесткий топчанчик, а собака, иссякая, все лаяла. Он вдруг подымал голову. Он зажигал тусклую лампу, вновь мучаясь. В такой или схожий вечер Молокаевы звонили чужим людям, что жили за высоким светлым забором; звонили они, конечно, наугад, извиняясь и спрашивая – мол, не появился ли сосед ваш?.. «Похоже, что он появился. Свет?.. Вот и сейчас (взгляд в окно) свет горит». – «Ну, спасибо, а то тут работка для него вроде как наметилась», – и Молокаев с толстухой женой, поужинав и меж собой обговорив, звонили теперь какому-нибудь дядьке из торопливых: сами, мол, мы слишком загружены, работы под завязку, однако вот нашелся и есть для вас мастер, и, разумеется, неплохой, потому что плохого Молокаев не присоветует, что вы!.. На другой же или на третий день Молокаев появлялся; во флигелек ввалившись, он здоровался с Якушкиным, после чего тут же, без лишних зазывных бесед, сводил его, бессловесного, под руку на мокрую улицу, на чавкающий под сапогами перекресток и – дальше.

Молчком (только сапоги громыхали) они подымались по ступенькам пока безлифтового нового дома на какой-нибудь восьмой этаж, и там, опять же без слов, Молокаев оставлял Сергея Степановича: говорить было нечего и работу он знал, так что ему только и нужно было показать место. У входа валялась тряпичная рвань, чтобы вытирать ноги. В прихожей (прихо-

дилось протискиваться боком) громоздилась горой паркетная доска, плинтуса, известь, краска и прочее. И вот, пробуя, Молокаев и Якушкин крутили краны, так как без воды не работа.

Оставшийся один, он ложился на полу добрать час-другой своего непрекращающегося полусна: стелил газеты, бросал на них пальто и перед работой спал. Когда Якушкин просыпался, газеты на полу, и пальто, и пустые углы квартиры уже не гляделись холодными или слишком чужими.

## 2

Вагон грохотал, и через каждые полчаса, заснуть не в силах, Дериглотов прикладывался к бутылке, а старик с нижней полки все шебаршил в тусклой желтизне вагонного освещения; старик то ворочался, то садился и долго бубнил, раздражая. Так началось; Дериглотов был из первых, кто испытал тягу и попал под влияние Якушкина.

Якушкин и сам не мог спать в ту ночь: новоявленный приступ говорливости, накатывая, переполнял и уже распирал его изнутри, отчего тряслись пальцы, а с пальцами и кисти рук. «Чего ты вертишься, старый, глотнешь водки?» – прикрикнул-спросил, свешивая голову вниз, Дериглотов, и почти тут же они разговорились, оба готовые. Дериглотов, жалуясь, даже и пококетничал своей болезнью *на три буквы*, а также скорой своей гибелью: осталось, мол, одно легкое и осталось какое-то количество времени похаркать кровью и попить водочки. Этот чудаковатый старик, от предложенной водки отказавшийся, вдруг встрепенулся; прихватив за рукав лежавшего на верхней полке Дериглотова, старик заговорил, в словах своих захлебываясь и брызжа слюной, – ты, мол, не о смерти сейчас думай, не о смерти.

– ...Ты не о том думаешь и не о том говоришь! Ты думай, как давать *другим* людям жить, о любви к людям думай! – яростным шепотом взорвался старик, Дериглотов же на миг остоленбел, после чего фыркнул: стало смешно.

Дериглотову еще не раз в эту ночь пришлось фыркнуть. Спрыгнув вниз, он нашарил ногой ботинки и двинулся, мрачный, мимо спящих – вагон спал, и весь поезд, может быть, спал, а они, двое, вышли в тамбур и делились там, чем послал случай: один заклинаниями, другой чуть наигранной и уже привычной безнадежностью. В тамбуре стучало и лязгало, под их ногами подпрыгивал десяток окурков, а у двери погромыхивал огнетушитель, однако сорокалетний техник, слово за слово втягиваясь в разговор, считал, что коротает бессонницу.

«...Ты, старичок, из ископаемых – да какой же мне смысл думать о всякой такой любви, если я обречен?» – «Да ты потому и обречен, что не думаешь», – старик, распалившийся, еще и сердился, вновь и вновь дудя в ухо, что и ныть, мол, забудешь, и о смерти забудешь, если решишься о главном, о человеческом, помнить и думать. «Думать, думать... – Дериглотов перебил. – Когда же мне думать, жизнь-то кончается. Смертник я». – «Ты со дня рождения смертник. Все мы смертники – а ты сочти-ка, сколько ты хапал в жизни, сколько ты других локтями отпихивал, пьянствовал сколько!» Дериглотов, кривясь, усмехался: «Другие тоже отпихивают и тоже пьянствуют, однако вот рака у них нет». – «Придет другая расплата». – «Ну-у, знаешь, старичок, – я, может, тоже хочу *другую* расплату, а мне вот какой билетик выпал...» Дериглотов перешел на мат и тыкал пальцем в грудь, где не было легкого, бесстрашный от водки и горя. Все же к третьему часу ночи, под стук колес и болтанье вагона на стрелках, техник скис, деться ему было некуда: кривился он и фыркал, но сам же не прочь был ухватиться за соломинку и поверить – и поверил.

Старик, со шрамом от щеки до макушки, ненаговорившийся и сопротивления собеседника теперь не встречавший, постепенно впадал в монолог, в нескончаемое вагонное поучение:

– Откажись от еды. Я научу как. Я знаю истину...

– Голодать, что ли?

И старик сказал ему – да; сказал, что жрем много и ведь жрем все больше химию, а выдержи, а поморись-ка голодом, глядишь, живая и здоровая клетка сама отвергнет все лишнее. Клетка станет чистой как стеклышко, как слезинка. Когда же клетка сытое и сумасшедшее свое размножение прекратит, тканевые излишки подохнут, отторгнувшись сами собой. Тут – выбор... Если не уйти (не уехать), то отказаться от городской напористой жизни, от излишеств – денег – выпивки – женщин – жратвы – должностей, – ты понял меня? – потрясал рукой Якушкин в тамбуре вагона, и, упорный, как бы тряс и тряс этой своей рукой цветистую

радугу соблазнов, осыпая ее на пол тамбура, полный плевков и окурков, – вагон был грязный, с проводником-мужчиной. Старик не умолкал. Поезд приходил в Москву рано утром; оба не сомкнули глаз, расставшись друг с другом лишь на перроне, где Дериглотов записал, *как голодать и как, если что, найти знахаря.*

Он пришел к Якушкину две, что ли, недели спустя, похудевший от недоедания и пошатывающийся: он хотел повторения того разговора; новая жизнь, которую он с ходу и разом попробовал на себя взвалить, нуждалась теперь в поддержке, в дополнительном (со стороны!) впрыскивании энергии, хотя бы и словесной: включилась тяга.

На будущее Якушкин дал ему адресок появившегося и уже приспевшего к этим дням студента Кузовкина, на что Дериглотов, адрес списав, скривил лицо: обиделся. У болящих свой гонор; каждый из них поначалу думал, что его обделяют и что третьим сортом идет; и каждый же, обделению противясь, надеялся на разговоры со стариком с глазу на глаз.

Преобразование совершилось вскоре: Дериглотов лица не кривил и безропотно приходил куда велели; он стал вежлив с Якушкиным, затем совсем уж вежлив и далее, спустя еще время и проскочив некую черту, – боготворил. Он не дышал в присутствии знахаря.

За часом час слушал теперь притихший Дериглотов пророческую болтовню – слушая, притихал еще больше; и вовсе исчез его наигранный, грубоватый смех. Он, надо думать, выуживал в стариковской болтовне что-то свое и скрытное – улавливал. Что именно улавливал он и выуживал, выразить словами не умел, не мог, может быть – не хотел, как не хотят делиться чем-то своим и наконец найденным; молчаливый, он только слушал. Обращение «старикан» или «старик» исчезло, конечно, еще раньше – Сергей Степанович, так именно и только так, по отчеству. На пяти-шестичасовых посиделках у Кузовкина, если не хватало стульев, Дериглотов стоял поодаль у стены; он стоял, слушая и сложив на груди жилистые руки, тихий, но и готовый одернуть, если надо, хоть словом, хоть делом затесавшегося к ним случайно хама или, может быть, непонятливого новичка.

Растирки и дыхательные смеси, если уж о начале, появились, когда под влияние Якушкина попала Инна Галкина, работавшая в аптеке и подрабатывавшая в лаборатории дополнительно, знакомств ради. Инне было тридцать пять – тридцать восемь лет, вполне одинокая женщина: муж бросил и те, что после, бросили тоже.

Детей не было; жизнь в одиночку сделала Инну желчной, мало кому нужной и мало кому интересной, а неопрятный старик, тоже, по-видимому, никому не нужный и не интересный, стоял в аптеке поодаль от окошек и от кассы, ждал, терпеливый, очередного привоза медикаментов. Старик и вчера ждал. Инна заметила. Она работала в самой глубине, в недрах аптеки, однако ведь вышла оттуда и прошагала мимо людей у окошечка и мимо кассы, – в заляпанном кляксами халате (цветы химии, бутоны на белом!) она приблизилась к старику, недружелюбно ему сообщив: «Не ждите – привоза сегодня не будет». Старик смолчал. Глаза у старика оказались совсем блеклые, с выцветшей голубизной. Начало же было, когда Инна переспросила вдруг, что за лекарства и травы ему нужны, – старик ткнул ей в лицо исписанный лоскут почтовой бумаги, блеклый и тоже выцветший. А Инна пообещала достать все, что в его списке, хотя не была и отнюдь не числилась в добреньких.

Страшным ничем не болея (если, впрочем, не считать сильнейших, большей частью ночных, нервных приступов), Инна стала аккуратнейшим образом ходить на их сборища, также переменившись: тихонькая, сломленно-сговорчивая, ловила она каждое словцо своего полубога, как ловили и другие, – соангел, тихо кивающий головой, когда полубог пять ли, шесть ли часов кряду пророчествовал и нес галиматью. В аптеке, заметив ее пришибленность, молодой насмешливый провизор спросил: «Инна, ты случаем не крестилась? Или, может быть, замуж собралась?» – «За старца из пустыни!» – кассирша съязвила; Инна же, смолчав, только чуть шевельнула губами – улыбнулась мягкой и кроткой, переснятой у Якушкина улыбкой. Они все, собиравшиеся у Кузовкина, так улыбались.

Чтобы он мог варить зелья, Инна отвела Якушкину свою квартиру, однокомнатную, наказав быть поосторожнее, когда она на работе. Инна же научила его перегонке трав и элементарным химическим опытам. Старик, оставшийся днем в квартире сам по себе, зашторивал окна (солнечный свет его раздражал), включал малую лампу и зажигал спиртовку: возгоняя травы, он занимался бесконечным их смешиванием: он сливал воедино и так и этак – после чего, недовольный, разделял вновь. Он пробовал зелье на вкус, а также на *рану*: надрезав лезвием бритвы руку у локтя, он мрачно смотрел, как свертывается кровь, – уставившийся на ранку и считающий секунды. Колдовал и химичил Якушкин без обычной для него яростности: неторопливо. В квартире, в чужой, ему нравилось. Квартира была тихая, дом – немодный, обычная пятиэтажка былых времен.

Здесь или не здесь дочь Леночка его все же отыскивала.

Увидев в полумраке горящую спиртовку и пахучие, наполненные черным пробирки в ряд, Лена вскрикивала:

– Папа, папа, ты же задохнешься...

Она целовала его; в смраде, зажимая рукой ноздри, она плакала: «Папа, милый папочка, за что же тебя жизнь так покалечила?» – а милый папочка, седой и заросший старик, не отводя глаз от булькающей на огне колбы, немо шевелил губами и продолжал ведьмачить. Ее он почти не заметил. Когда кто-либо приходил, делу мешая, Якушкин, как скованный мыслью лунатик, открывал дверь, с вошедшим не здороваясь и в лицо его не глядя. Он только поднимал указательный (указующий) палец, повторяя всегда одно: «Тсс. Тише... Соседи недовольны». Иногда же и этих обязательных слов он не произносил, потому что считал, что уже произнес их, не повторяться же: бессловесно тыкал он пальцем в потолок, в соседей, которые сверху, и, крадучись, тишины ради, возвращался к спиртовке, к своему делу, – глаза его не отрывались от языка огня и тихо бурлящей колбы.

Лена по смерти матери очень скоро вышла замуж, от одиночества, возможно, чуть поспешив. Она попала в семью, к людям щепетильно-современным, которым не все равно и для которых щепетильно-мучительным приданым оказался Леночкин отец, впрочем, не сразу.

Мать тоже могла не подойти им, но мать умерла и тем подошла – отец же отбывал в ИТК срок, где еще и свихнулся (в некотором смысле). Лена родила мальчика Вовочку.

Как подсказывал опыт, Лена уверила мужа и новых своих щепетильных родственников, что милый папочка Сергей Степанович на далекой и холодной стройке в Сибири зашибает холодный, но длинный рубль. Выдумка не была гибкой. Отец появился; он действительно привез с собой рубли, скопившиеся за холодный срок, и плюс – объявилась кругленькая сумма, что дал в долг старый дружок Молокаев. Так что почти на равных паях с новыми родственниками отец помог построить молодоженам кооператив. А после жеребьевки, едва номер квартиры определился, он же сам впрок квартиру отремонтировал. Он вроде бы уравнивал и свою простоватость, и свое долгое сибирское отсутствие. Он вроде бы и с разговорами своими к родственникам не лез.

Но картинку-акварель, с таким тщанием нарисованную, смазала одна и случайная советская бумажка, что пришла не по адресу Якушкина, а к молодым. Муж Лены, пустяка ради, отправился в собес, а принес оттуда так, что не унести: судимость в паре с шизофренией.

Якушкин жил в каменном флигельке на окраине и, помимо народных праздников, к молодым в гости, в общем, не ездил, но легче не было – для щепетильных родственников мужа он жил *рядом*: он жил в том же городе. Он мог прийти (теоретически) в любую минуту. Он мог заночевать. Им не нравился его неопрятный вид и его голос, и уж совсем не нравилось, что он каждый раз, разговорившись, сулит им нехорошую болезнь и еще более жуткую кончину.

Родственники мужа – с одной, а с другой стороны, и как бы из-за спины, Лену дергали (звонили) бывшие отцовские дружки Молокаевы, тоже подбрасывая ей в душу, хоть и нечасто, всякие приятные слова: «...Как это так и как же ты не знаешь, где отец сейчас? Слаб умом, а

все же он твой отец!» – и, конечно же, после таких слов, и брани, и угроз подать в милицию на всесоюзный розыск Лена вскинулась, кликнула мужа, и они колесили Москву, пока отца не отыскали. И, как обычно, найдя его и выплакавшись, она понимала, что искать-то не стоило. Якушкину что – отодвинувшийся чуть от спиртовки, он толлок в полутемной комнате пустырник и зерна тмина, а Леночка глотала новые слезы, терзаясь теперь тем, что же это за лекарство варится и для кого: «Папочка, ты отравишь людей, тебя же посадят!» Якушкин, казалось, не слышал: весь в деле. Якушкин передал – она взяла из его рук небольшую ступку и терла теперь пестиком дурацкий этот тмин. Они не гляделись рядом как отец и дочь, они гляделись как старик-колдун и молоденькая его внучка.

Сергей Степанович, приборматывая, зажег вторую спиртовку; он нюхал варево и был, творец, *кальцием недоволен*, а Лена всхлипывала – когда же, папа, ты прекратишь, когда же дашь наконец нам жить спокойно? «...Сам того не зная, ты опасен для людей – пойми же», – руки были заняты растиранием тмина, и потому слезы возле губ Лена слизывала. В сотый раз объясняя отцу, что он – в пороховом погребе, а она – в каждодневном за него страхе, Лена напоминала ему, что есть же в березовом Подмоскowie неплохие и даже ухоженные дома для таких вот переболевших стариков. «...Мог бы там жить, как все люди, – ходить в кино, в шашки играть», – всхлипывала Леночка, отлично, впрочем, зная, что шашечно-киношное царство надолго Якушкина не удержит, и что надеяться не на что, и что «папочка – это крест на всю жизнь». Но можно же было помечтать – и поплакать. На улице муж Лены прохаживался возле машины и курил. Он ждал. Они с Леной долго сегодня колесили, пока отыскали, и теперь он ее ждал, покуривая и нет-нет поднимая глаза к окнам, однако сам наверх не поднимаясь, потому что видеть спятившего тестюшку за колбами и пробирками было выше его молодых сил. Стоял морозец, и курить в перчатках было неудобно.

Варево вскипало; варево желто пенилось, обдавая комнату травным запахом, – Якушкин же, *кальцием недовольный*, шевелил губами – шептал самому себе: «...*Кальций лучше всего вводить в организм в чистом виде: очищенный мел, зубной порошок, а также толченая яичная скорлупа... Глюконат кальция, которым врачи пичкают больных, имеет, к сожалению, кислую реакцию*». В его бормотанье вклинивались высокой нотой Леночкины жалобы: «Папа, папа, как же ты жить дальше будешь?!» – При блеклом свете спиртовки Лена вглядывалась в стрелки часов: прикидывала, сколько томится и сколько уже высадил сигарет (на морозе) бедняга муж.

«*Кальций*, – бормотал и нашептывал Сергей Степанович, – *защищает наш организм: замечательное свойство кальция поглощать ионизирующие излучения, организм от радиации ограждая...*» Связки и целые блоки вычитанных мыслей толпились в его голове хаотически. Не сразу и лишь с постоянным нашептыванием (дегустация *на слух*) книжные мысли делались знакомыми и родными, были как свои, – Якушкин, однако, и тут что-то избирал, отделяя цепким умом самоучки. Некоторые мысли после длительного пробного шептанья он разлюбивал, другие – любил долго и верно.

– До свиданья, папочка. До свиданья... – Пора было уходить.

Лена ушла – поплакав и отчаявшись, однако же лишний раз убедившись, что отец жив и здоров и без перемен. Лена чмокнула его в седую щетину и ушла, а он, тоже ее поцеловавший, нашептывал и колдовал у спиртовки. Он был похож на покинутого алхимика. Возврат тишины – потрескивание спиртовки.

Соседи Инны Галкиной оказались людьми нелюбопытными, значит – терпеливыми, но и они начинали понемногу задумываться о природе вещей, обывательски беспокоясь, когда в ходе поиска (в ходе опыта) колбы Якушкина негромко взрывались – п-п-пах! – раздавался небольшой взрывочек, и Якушкин, медлительный, запоздало подносил ладони к лицу. Прикрывший глаза, старик на время застывал в недвижной тишине чужой квартиры. Очнувшись, он образцово опускался на колени, полз по полу, собирая стекло и вытирая маслянистые раз-

воды на паркете, – п-п-пах! – раздавался следующий взрывочек, и он вновь прикрывал на случай глаза и после вновь полз, неторопливо собирая тряпкой. Он вовсе не спешил: он думал.

Соседи вели себя прилично, они стучали по радиатору отопления только в том случае, если Инна, припозднившись, не приходила, а Якушкин варил и варил зелье, потеряв счет часам. Ночные взрывы не всем нравились; и, если стучали железом по радиатору, Якушкин прерывал наиболее острые и смелые опыты, взамен занимаясь чтением или же нешумным составлением смесей. Спешащая и как бы врывающаяся, Инна приходила после дежурства. «Сергей Степа-а-анович! – всплескивала руками. – Вы же пораниться могли!...» Она внимательно осматривала; убедившись, что ни ранений, ни царапин нет, – кормила. И только после выметала россыпь стекла и смывала кляксы с паркета. Самые же картинные кляксы были не на полу – на потолке.

– Нда-а, Сергей Степанович, не скоро позову я кого-нибудь к себе в гости! – смеялась Инна, тем и счастливая, что полубог трудился у нее в доме и в доме же остался, а теперь вот поел и – если время позднее или устал если – ухоженный переночует в тепле.

Напустив в ванную теплой воды, она, придерживающая, вела старика туда. Почти сутки простоявший на жестких ногах возле колб и спиртовки, он вдруг в ванне засыпал. Инна обмыла его. Однажды только она подумала о нем как о мужчине, когда он спал в комнате, а она – на кухне: во сне он тогда стонал, одолеваемый черными мыслями о человечестве, которое сворачивает и сбивается с верного пути. Стоны не были глухими. Инна подумала, что он, может быть, мается без женщины: с пожилыми тоже бывает. Тут же и почти без колебаний, с истовой интеллигентностью она, как излагают в романах, вошла на цыпочках в комнату и скользнула к нему в постель, шурша ночной рубашкой: «Стонете вы, Сергей Степанович», – он же, в полусне, помяв тело, пробормотал вдруг угрюмо и даже грубо: нет, мол. Могу, мол, спать только с женой (он забыл, сонный, что жена умерла). «Понимаю...» – Инна выскользнула; успокаивая его, она тихо и просто посидела с ним рядом, нисколько не обидевшись, лишь смутившись. Она еще больше уважала его. Много от них хлебнув в свое время, Инна без иллюзий делила мужиков в их мужском проявлении надвое – отряд бабников и отряд деляг. Теперь оказалось, есть и святые; она так и поняла его. Стань Якушкин мучеником, она бы легкими шагами пошла за ним. Когда его взяли на лечение в психбольницу, именно Инна взывала ко всем знакомым ей медикам; она готова была бить в набат, напрочь забыв в рвении, что Якушкин и в самом деле, помимо своей гениальности, человек больной. Слова Якушкина, сказанные в больнице при свидании – не плачь, мол, женщина, и не шуми, *инсулин* мне полезен, – собственные его слова только и убедили, удержав Инну от дальнейшей беготни и истерик в больших приемных.

На виду было, конечно, что – дилетант, когда Якушкин химичил, возясь с колбами и с пробирками в ее квартире. Но и тут все сходилось – ища веры, Инна ставила на его порыв и интуицию; более того, она допускала, что истинный гений непременно и должен быть дилетантом. Во сне, слыша ночами с кухни его стоны, Инна с нежностью – с утонченной, думала, что ему и впрямь, может быть, хочется женщину, но причину стонов сам он не знает, и незнание это чудесно: отсутствие (женщины) обяжет его работать на самых затаенных мощностях, энергия гения, не выплеснувшись и в распыл не пойдя, останется при нем же.

Мучимый мыслью Якушкин просыпался, спичкой чиркнув, он разводил под спиртовкой блеклое пламя и вновь химичил. Так и этак выпаривал он смеси трав, упорно сцепляя их в огне с мумие или же с толченым золотым корнем, который ценил особо. Спиртовка горела с легким шипеньем. Огромная тень старика ломалась на стене, а отсветы и отблески колб давали цветовую радугу – край радужного коромысла, покачиваясь, мало-помалу взбирался на потолок. И если верно, думала, засыпая, интеллигентная Инна, что гений, развиваясь, должен скорым шагом и чуть ли не бегом пройти этапность человечества, то Якушкин сейчас шел через Средневековье: прошедший слепоту пещерных шаманов и как ступеньку приобретший опыт

говорунов-пророков, он вышел напрямую на труд алхимиков. Инна засыпала. Инне снились иконописные мужские лики.

Взрыв в восемь вечера следующего дня завершился пожаром: искры вместе с оплавленной смолкой мумие въелись в занавесь окон – алхимик не заметил, хотя шторы занялись и стало трудно, а затем больно дышать. Затем дышать стало нечем, и тогда только он увидел большой огонь. Вернулась, на его счастье, с работы Инна, которая *сначала* вытолкала старика на улицу («Быстрее вниз, Сергей Степанович! И не подымайтесь сюда больше!») – и, лишь убедившись, что старик, спускаясь по лестнице, затопал к выходу, метнулась к телефону и набрала две цифры. Пожарные приехали. Инна суежилась в квартире, задыхаясь от дыма, но не уходя. Она пыталась собрать разлетевшиеся листочки – коряво записанные смеси якушкинских зелий; пожарникам пришлось силой вытащить и выволочь ее оттуда, потому что в последнюю минуту Инна вспомнила и о своем: о камее шестнадцатого века в деревянной шкатулке. Якушкин же стоял внизу, где уже сбилась пестрая говорливая толпа – люди глазели на два окна, из которых вспухал дым и рвалось пламя. Якушкин тоже глазел. Он не понял, что Инна велела уйти совсем и что к пожару ему не надо быть даже отдаленно причастным.

Окна находились на третьем. Струи вперекрест били с земли; чумная и черная, Инна наконец выскочила с баночкой мумие, с листочками корявых записей, с паспортом, но без камеи. «Домой, домой!» – локтем подталкивала Инна старика, чтобы убирался, шептала и шипела, ибо соседи из сочувствующих уже охватывали ее плотным кольцом, а милиция начала расспросы. Но обошлось. Кроме ее квартиры, дом не пострадал. В квартире кухня не очень, а комната выгорела дочи́ста, – Инна, перебравшаяся на время к своим богатым родителям, жила там и кланчила там деньги. В лаборатории аптекоуправления ей вынесли строгача «за неаккуратную и необязательную работу на дому», а кооператив уже своей заботой наложил звонкий штраф в счет починки дома. Но Инна улыбалась – обошлось.

Тем же вечером, отмывшая сажу и грязь, Инна сидела за столом, и после ужина богатые родичи выкладывали ей купюру к купюре в покрытие штрафа. Сглатывая слюну деловых людей, родичи тихо злились. Злились они тихо и сдержанно, потому что куда же денешься и потому что «очень любили милочку нашу Инну», – а милочка наша Инна смотрела на выкладываемые купюры и тоже глотала слюну, сладострастно думая, что так им, толстым, и надо и что наконец-то их деньги пойдут на святое дело, покрывая промах великого человека.



## 3

Отвращевав, великий человек впадал в жалкую расслабленность: он уходил, уползал в свой флигелек, где и лежал, уползший, ничком на топчанчике, одинокий; нет-нет, и он подымал с трудом голову и в сторону окна, а может быть, в сторону неба тихо-пронзительно то ли стонал, то ли выл: уу-ууу... – особенно же выл он ночами. Родничок в овраге, если его слишком уж вычерпывают до дна, с таким же, для других не слышимым, воем и скрежетом песка тянет и подсобирает, подсасывая из земли, новую воду; песок тихо-пронзительно поет – это известно. Повыв, Якушкин один раз среди ночи садился. Не включая свет, чтобы глаза не утомлять, он ощупью зажигал газ и варил на первое зверобой в смеси с золотым корнем.

Газ полыхал голубым пламенем, обрисовывая флигелек – комнатку в пятнадцать квадратных метров и плюс просторную прихожую, отчасти и строго занятую (не заваленную вразброс) инструментом, так что отвертки лежали в ряд в опрятном ящике, а набор молотков и клещи, видные сразу, висели на стене слева. Были еще, как две провинции, две емкие ниши у входа, сохранявшие погребной холод: там, прикупаемые, хранились овощи. Там же, но не сбоку, а над, нависали полки из дуба – с банками, склянками, утварью, запасом тмина, зубного порошка и высушенных трав... Газ горел – старик пил зверобой в голубоватой полутьме, и варево в ослабевших его руках понемногу проливалось – выплескивалось горячим на бороду, на руки и вдруг на колени.

«Съезди к нему», – просила Люся своего Кузовкина, но Кузовкин к нему не ехал (Якушкин стыдился, что ли, этих расслабленных дней и ночей) – Кузовкин слишком хорошо помнил тот единственный раз, когда он, послушавшись, прибыл, а валявшийся ничком старик, казалось полумертвый, через бессилие и немочь поднялся и орал на Кузовкина, пошатывающийся, с красными безумными глазами. Нет – значило нет.

Звонившим и спрашивающим Кузовкин отвечал, что Сергей Степанович самоуглублен, занят, выколдовывает, может быть, новые смеси. В разреженном воздухе отсутствия Кузовкин времени не терял и переписывал с отдельных тетрадок в общую: сводил говоренье и мысли Сергея Степановича воедино. Копаясь в откровениях полубога, он вглядывался в каждое слово, пусть случайное, так как в случайных словах, конечно же, мог таиться свой неслучайный и жданный смысл, – Кузовкин искал истину. «...Как защита организма от патологии. С каждым следующим годом жизни человек пропитывается кальцием все больше, человек известкуется, известкуются и кости его, и сосуды, – врачи против, но природа за», – аккуратно переписывал студент, и его свойство постоянного переписчика становилось со временем чем-то большим: как бы репутацией. Хотя и редко, однако вполне самостоятельно он собирал у себя в эти вялые дни наиболее преданных якушкинцев: Дериглотова, Инну, мужа и жену Шевелиновых, чтобы могли они посидеть, поговорить о недугах, а также поделиться добытым за это время женишнем. Общение – без. Проведя без знахаря вечер в негромком застолье, они расходились за полночь просветленные, самим фактом общенья поддержавшие каждый в каждом надежду, что несколько еще дней и пусть даже неделя, и тогда в этой самой комнате они его увидят... и услышат. Конечно, они перезванивались. Проводив тихих гостей, а затем не спеша перемыв чашки из-под зверобоя, заглянув и проверив, спокойно ли спит в другой комнате годовалая дочка, Кузовкины ложились в постель. Подушка тепла и мягка; свет погашен. Тут именно (по времени) Люся и просила шепотом: «Все-таки съезди к нему... навести его». Просьба Люси не была просьбой. Это было как бы еще одной их привычкой: поговорить о Сергее Степановиче на ночь глядя. Кузовкин отвечал ей, как отвечал всегда:

- Сергей Степанович сейчас самоуглублен – ты же знаешь.
- Знаю... Какой человек! – вздыхала Люся.
- Нам в жизни повезло, правда?

– Еще бы, – так они перешептывались.

Когда-то Кузовкин, маявшийся головными болями, прослышал о Якушкине и, едва отыскав, поверил тут же и влюбился в него, как только может поверить и влюбиться в пророка болезненный студент. Тогда Кузовкин настолько болел, что не мог учиться; он брал отпуск за отпуском. Маясь головой, он не мог жить в шуме общежития, – родители присылали, и, решившийся, на ежемесячную их толику студент снял комнату, жил на отшибе и, конечно же, при первом случае зазывал к себе Якушкина.

Приглашал он скромным и тихим голосом (громкость отдавала в виски), он шелестел, как деревцо шелестит листьями, он звал, сначала из вежливости, и тех, кто хотели бы знахаря послушать: он собирал. Однако продавщица из углового гастронома на него, тихого и шелестящего, теперь – орала. Она сдала комнату болезненному студенту (студенту), чтобы иметь кое-что на лишнюю красивую тряпку, – она знать ничего не желала. Вернувшаяся из гастронома, она желала, может быть, безлюдья и орала, грубоватая, чтобы не смел он водить сюда всякий шепчущийся сброд. За их сборища она требовала дополнительные рубли, подарки, а то и луну с неба, вдруг и неожиданно она запрещала в течение всех пяти-шести часов пользоваться этому сброду уборной, непосильно их изнуряя.

Она орала, пока на ее крохотной двухкомнатной площадке не задействовал великий сюжет.

Все раны оживают весной, и весной Люся особенно неистовствовала. «Что за идиотская фамилия – Кузовкин? Ты что, из деревни? – мне охломоны не нужны, убирайся!» – она кричала вечером и к ночи, но хуже и всего больнее (для его головы) она кричала ранним утром через хлипкую дверь комнаты. Студент, сонный, откликался с постели слабо и тихо: «Но мы же говорили, Людмила... Мы ведь уже говорили на эту тему». – «Убирайся. Вчера опять приводил всякий сброд!» Ее ранние житейские боли и обиды как-то уж слишком вылезали весной наружу, вымещаясь. Она, конечно, знала, что его не выгонит, деньги нужны, студентик тихий, чего еще, – однако кричала. Весна била в окна. Студентик разлеплял глаза и морщился от забивавшей с утра головной боли. Началось, может быть, с жалости, когда Люся, снисходя, надумала как-то пожалеть болезного малого, что не знает ни радости денег, ни радостей постели, и сладкого, по-видимому, вообще не знает, связавшись в одно с говорунами, по которым давненько скучают санитары, – ясное ж и зримое дело... Заодно она приревновала к Инне Галкиной, приносившей время от времени для передачи Якушкину те или иные порошки и травы, – Инна уходила, а в хлипких дверях тут же возникала Люся. С расстояния, не дыша на студента вчерашним, она укоряла: «Смазливенький, симпатичненький – и ведь на какую носатую страхолюдину клюнул, а?» Иногда, подделываясь под ее тон, тихий Кузовкин, вздохнув, отвечал: «А что ж – любви не прикажешь!» – «Любви?.. Да ты знаешь ли, моль, что такое любовь?!» – она похохатывала: помимо опыта, она была старше Кузовкина – на шесть лет. Теперь что такое любовь они, надо полагать, знали оба.

Люся не вломилась однажды к студенту в постель – она только стала чаще заходить к нему в комнату в свеженьком и цветастом халатике: что-то она советовала и что-то она выпрашивала, пока не увязла в его шелестящих разговорах, а потом и в якушкинской словесной патоке. Родилась дочка. За два года Люся стала такая же тихая, как Кузовкин.

Когда Якушкин начал свой очередной выход на умирание, или, как они называли, *выход на смерть*, Кузовкин дежурил больше и чаще других; дежурство происходило в кустах смородины или же в кустах малины – втайне от старика. Было лето. Было тепло. Но легко – не было.

На состояние умирания Якушкин выходил знания ради; с тем, чтобы, прожив его, уяснить, какие *там* жизненные резервы и какие из опасных провалы, – и, конечно, близость края пугала якушкинцев. Сначала в помощь Кузовкину был врач, притом бессребреник, которого уговорила Инна Галкина и который по доброй воле приехал; однако узнавший, что ни осмотреть старика, ни даже войти во флигелек нельзя, потому что старик, видите ли, не хочет, врач

осердился и отбыл с первой же электричкой: чего ради он, врач, будет сидеть в кустах смородины, к тому же прячься?.. Инна и Дериглов подменяли Кузовкина, после чего отоспавшийся студент приезжал дежурить вновь. Шел шестой день голодания, и было не так уж страшно, но пошел десятый день, одиннадцатый, пятнадцатый...

Дежурство состояло в том, что Кузовкин изредка подходил к флигельку; опасливо заглянув в окошко и увидев старика, лежащего в забытии, его недвижимое лицо, возвращался в кусты. Дежурство состояло также и в том, чтобы наблюдать за флигельком с расстояния: слышать и видеть, как хлопает ставней ветер и как бездомный кот, бродивший по участку и осмелевший, вдруг впрыгивает через окно внутрь, а потом – еды во флигельке не найдя – уходит, тоже через окно. Кузовкин позволял себе держаться и на большем расстоянии – из кустов он выбирался за калитку, сидел там на скамье под тополями, в пятнадцати-двадцати шагах от флигелька. Неподалеку белел магазинчик, и там Кузовкин покупал себе немного колбасы, сыра, хлеба и застарелой фруктовой воды с мучнистым осадком на дне. Через каждые полчаса, пройдя осторожным шагом по краю участочка, он на миг заглядывал в окна.

Покупая фруктовую воду, пить или не пить, Кузовкин и привспомнил вдруг, что возле постели Якушкина не громоздится обычный и облупленный его чайник. Очередь покинув, а он был уже в шаге от прилавка, Кузовкин метнулся к флигельку – заглянул: убедившись, он метнулся еще, на этот раз к телефону-автомату, и позвонил Инне Галкиной: Якушкин, мол, живет без воды, совсем не пьет. «О господи!» – вскрикнула Инна, а Кузовкин, голосом дрожа, настаивал, чтобы Инна поговорила с врачом и попросила: пусть приедет. «...Он больше не приедет». – «Объясни ему, Инна. Объясни еще. Ведь опасно. Ведь останемся без Якушкина». Инна побежала вновь отыскивать и уговаривать оскорбившегося врача, а того, как водится, нигде не было, ни в поликлинике, ни дома.

Когда врач, наконец появившийся, отказался наотрез, Инна побежала к другому врачу – другой тоже был ее приятелем и тоже отказался, накричав на нее, едва она стала настаивать, и обругав: он не сомневался, что в таких интересных случаях к старикам зовут не терапевта, а психиатра. И только тогда Инна, побагровевшая от просьб и суетного бега, кинулась, уже плачущая, еще к одному, как кидаются к последнему, – и тот сказал: да. Врач этот когда-то жил с Инной, вытягивая из нее всякие там знакомства и связи («...жуткий циник!»), – он жил с ней и над ней же подсмеивался. Он превратил ее квартиру в хлев и, конечно, грубо и немедленно бросил Инну, как только прошла в ней, а точнее, в ее небольших знакомствах и связях нужда. Однако именно он наблюдать за голодающим стариком согласился. Он тут же и в охотку приехал. Его не пугали (Инна предупредила) возможные оскорбления спятившего старца, ни игры с дедулей в прятки, ни сидение в засаде под тополями или даже в кустах смородины: его ничто не пугало, были бы деньги. Они были, и он взял их вперед. Шел уже неизвестно какой день голодания и четвертый день без воды.

Глаза старика, запавшие и втянувшиеся в череп, совсем исчезли с белой маски его лица, – втянувшись, исчезли также спекшиеся губы. Провал рта, безгубый, все же несколько означался. Циник врач подошел и смотрел в окошко ровно одну минуту, после чего сказал коротко: «Дело – дрова!» С холодной кровью профессионала, на все охи и ахи (как, мол, теперь быть и чем помочь) он отвечал: «Во-первых, надо меня, врача, к нему впустить». – «Нет-нет... Невозможно». – «Тогда просите место на кладбище. В жару неплохо сделать это заблаговременно», циник уселся, ожидая исхода, на той самой скамейке под тополями, и Кузовкин теперь приносил ему из беленького магазинчика колбасу, сыр и вино, потому что фруктовую местную воду он пить не желал. Время, если и пить, не двигалось: зной.

Ближе к вечеру белая маска лица задергалась, старик бредил; когда Кузовкин кинулся за циником врачом, выяснилось, что тот пьян: он хихикал, пел популярные песни, подняться же со скамейки под тополями никак не мог. Кузовкин просил. Кузовкин умолял. Врач наконец встал и двинулся к флигельку, плетя ногами, но оказалось, что у него возникла любопытная,

на его же взгляд, идея – что, мол, если в вашего маньяка влить бутылку-две портвейна? Врач (идея эксперимента ошеломила его) как-то мгновенно пришел (перешел) в новое настроение, он стал боевит, у него и ноги уже не так заплетались – воспылавший, он рвался с початой бутылкой во флигелек. К счастью, идею сменила, и почти тут же, другая, куда более могучая: с двухкопеечной монетой, нет-нет ее роняя, он влез в будку телефона-автомата и названивал знакомым женщинам. Язык у него не вязал. В будке он время от времени сгибался – выуживая, выбирая у себя из-под ног выроненную двухкопеечную – и вновь звонил; кто-то из знакомиц наконец разрешил ему нагряться в гости, пусть сейчас, пусть даже пьяному, о чем он предупреждал честно и с первого же слова. «Ур-ра, – вскрикнул он, – по коням!» – и, конечно, пошел к электричке, отмахиваясь от умоляющего и шелестящего голосом Кузовкина. Кузовкин вернулся к старику. Якушкин бредил.

Отчаявшийся Кузовкин попробовал дать ему воды, но Якушкин метался – выбивал воду или расплескивал. Кузовкин сидел, прижав к груди пустой граненый стакан: не знал, что делать. К вечеру настигнув, старая знакомая боль прихватила виски: студент не спал слишком долго, а на смену ему, хотя и сговаривались, Инна не приехала. Телефон Инны не отвечал.

Бедный Кузовкин разрывался от горя: он оставлял умирающего старика одного. Вялый, он сел в электричку; голова разламывалась. Он прибыл и на Белорусском вокзале, случайно, возле железного строя телефонных будок, увидел циника врача: покачиваясь и роняя двухкопеечные, неугомонный опять кому-то названивал. «А-а, – он тоже увидел, узнал Кузовкина. – Похоронили маньяка? Ну и прекрасно, давно пора...» – и названивал, веселый и пьяный, дальше. Студент вдруг остро засовестился, застыдившись своего бегства, – телефон Инны вновь не ответил, и тогда Кузовкин вернулся к той же самой, поднявшей уже дуги электричке и поехал назад, к Сергею Степановичу. В электричке, уснув, он проехал нужную остановку. Он очнулся чуть ли не в Можайске. Жаркий, перегретый сном, влетев спешно на мост, он пересел в обратную электричку... прибыл он только к вечеру. Он вошел во флигелек, трясущийся: думал, что увидит мертвого. Якушкин был жив. Старик, в беспамятстве, лежал на боку, лицо Якушкина было красно от лучей; закат показался студенту багровым и зловещим.

К ночи начались хрипы, нехорошие, с рыком и с неправдоподобным привизгиваньем, как у рваной гармошки. Хрипы выходили – отделяясь, как освобождаясь от стариковского тела, и Кузовкин, сникший, думал, что в воздух и в небо уходит сейчас его жизнь. Студент то звал («Сергей Степанович!.. Сергей Степанович!..»), то, обхватив руками болезненную свою голову, качал ею из стороны в сторону, как китайская игрушка-болванчик. Заплакал. Он плакал, отстраняясь и думая о дальнейшем, о маленькой дочке, что ли, о тихой Люсе; смаргивая, он увидел, как старик вытянулся, суставы в его ногах хрустнули, стрельнув слабеньким треском, – миг мелькнул: и теперь старик лежал вытянутый, плоский, с заострившимся носом. Кузовкин не смог кинуться к нему, не смог и закричать – сидел, как и сидел. Не шевельнувшись, он так и уснул, в робости и внутренней немоте, весь сжавшись и боясь мелькнувшего мига; уснул, сидя на стуле и при свете. Свет во флигельке горел. Только утром (ударило солнце) проснувшийся студент машинальным движением руки выключил бледную лампу.

Он выключил и стоял: был запах; тонкое и острое гниение накатывалось на него, сомнений не вызывая, – и тогда Кузовкин пошел прочь. Он шел под тополями.

Ему навстречу, прибывшие с электричкой, шли Инна Галкина и Дериглотов, люди пусть не пожилые, но пожившие; во флигелек войдя, Инна первая и сразу же метнулась к пульсу. Пульс не прослушивался, но Сергей Степанович был теплый, живой. Инна закатала ему штанины и высвободила рубашку, – найдя сначала ошупью, она и воочию увидела пролежни, от которых густо поплыл запах. Спирт и вата, стариком загодя подготовленные, были на полке и на виду, но едва Инна стала пролежни протирать, Якушкин замычал: н-н-ны... – не хотел. Инна оглянулась на мужчин, взглядом спрашивая; те смолчали; она решительно полезла ватой под рубашку и под туловище старика. «Н-н-ны!» – выкрикнул Якушкин.

– Не хочет, – проговорил глухо Дериглотов, – оставь его и не трогай. Значит, так надо...

Они наскоро обменялись мнениями; они шептались. Но он же сгниет заживо, говорила Инна. Не сгниет, уверял Дериглотов, убежденный чуть ли не в бессмертии иссохшего, лежащего пластом на топчане старика. Дериглотов не дал Инне его протереть. И вовсе не советовал трогать, опасаясь, не спихнут ли они его невольно своей помощью и стараниями в *ту яму*, возле которой старик замыслил близко пройти... Дериглотов и недоспавший, валившийся с ног Кузовкин уехали; а Инна осталась.

К ночи запах стал сильным и остро смердящим, Инна уже не смогла сидеть около: она сидела на бревне возле флигелька, но и здесь, забивая траву и забивая смородину, запах душил. Среди ночи Инна легла подремать, отыскав покореженную раскладушку и перетащив ее волоком к самым кустам; чуткая и каждую минуту готовая встать, одетая, она только сняла лифчик, который давил ей грудь на прогнутом ложе.

К утру в сгустке с легким туманом запах переполз забор, и по соседству завывала собака; вой был характерный, с протяжными нотами ожесточения. Узнавшие звук, печальную его окраску, теперь уже остальные (три или четыре) собаки, сохранившиеся на Тополиной улице, нет-нет и принимались за коллективный вой. Запах нарастал; Инну вытошнило прямо в куст смородины, ее рвало долго, и она вскрикивала. Приехал наконец Дериглотов.

В аптеке Инна дежурила с утра, она маялась: преследовал запах – преследовало подыванье собак.

И только к вечеру Дериглотов позвонил ей, сообщив, что Сергей Степанович начал выходить («...всплывает!») из своего опыта. Поднимался, или *всплывал* из глубины опыта Якушкин вполне самостоятельно: он сам захотел воды и сам же, не вставая (теснота флигелька), дотянулся рукой до крана; набрав полчашки, он выпил два или три глотка. Через час он выпил еще три глотка. Инна, узнавшая, тут же возле телефона расплакалась. На следующий день Якушкин пил воду чаще и чаще, к вечеру он принял немного пищи; не в силах жевать, он заглатывал кашу из хлебных мелких крошек, залитых кипятком и разбухших; через каждый час он пил, добавляя чернотой, как кофе, навар своих трав. Он ни разу не разрешил себе помочь. Он встал только на пятый день своего всплывания; он добрался, пошатываясь, до плиты и сготовил себе первую горячую пищу. От него пахло, но пролежни он уже обрабатывал; затягиваясь, пролежни оставили мощные симметричные рубцы на теле.

В том же августе прискпел срок, и Якушкину предложили курс лечения инсулином в психбольнице – о голодании его они не знали и были старицкой худобой откровенно напуганы. «Может быть, на некоторое время отложим?» – спросили. Хотя и обладая высшим знанием, Якушкин не относился к врачам свысока: он жалел их. Его переспросили: не отложить ли лечение инсулином хоть на месяц? – и старик, участливый, мягчея голосом, ответил:

«Нет... Тянуть зачем же – если уж надо». Он попросил взять в больничную палату с собой травы; получив отказ, улыбнулся: пусть так.

Больной, с которым Якушкин должен был делить палату, тоже испугался высохшего старика. Якушкин как раз вошел, и они впервые посмотрели друг на друга.

Больной взволновался; он решил, что, может быть, в палату вошла смерть, то есть не сама смерть, а как прообраз – лежачие больные впечатлительны и с прообразами накоротке. Однако больной не вскрикнул, он был молчун. Он только отвернулся от иссохшего старика к стене и не стал смотреть. Якушкин же, улыбнувшись, поздоровался и сопровождавшему врачу сказал про отвернувшегося к стене – это, мол, *братан мой по духу*. «Кто, кто?» – переспросил врач.

Лечение Якушкину предстояло несложное – профилактики ради; его случай считался из легких.

## 4

Леночка не помнила те золотые, как говаривала мать, времена, когда в каменном этом флигельке они только хранили продукты; детская память, впрочем, все еще удерживала именно там бочку с солеными огурцами, и еще бочку с помидорами, и как вершину солений – бочку с солеными арбузами. Жить же во флигельке, конечно, не жили.

Но иногда Якушкин, вернувшись из города, не хотел будить жену и дочь среди ночи и к тому же (или даже – более того) хотел побыть во хмелю один, не сбивая, а, напротив, сладостно удерживая в себе состояние крепкой выпивки; сам с собой говоря и покуривая, он располагался во флигельке, на дерюжке, где и засыпал (утром разбудят птицы), зная, что ночь жаркая и что холодное пиво рядом. Да, пиво, заходя закупив, он тоже во флигельке держал – в прохладе. А жили они в возвышающейся рядом с флигельком даче: это и была их дача-дом, четырехкомнатная, просторная и еще с комнаткой наверху. Большой дом с участком требовал усилий и постоянного глаза хозяйки, и потому мать Лены, Марья Ивановна, работавшая в магазине, разрывалась меж и меж.

Жили тихо, тем звучнее был гром с неба, когда Сергей Степанович, с Молокаевым заодно, пошел под суд. После конфискации Леночке с матерью остался только флигелек; в нем и жили, в нем мать и умерла, Якушкина с сибирских работ не дождавшись. Бедная.

Подолгу, и ведь без музыки, сидели на веранде они вечерами (осенью, весной, летом, это все до суда), общаясь и счастливо выпивая вдвоем, как выпивают вдвоем мать и отец; говорили – о жизни, о деньгах, о пустяках вперемешку. Якушкин уже зевал. Марья Ивановна, тоже наговорившаяся (так начитавшиеся роняют к ночи из рук книжку), как бы роняла зовущие слова: «Пойдем, что ли?» – оглаживая пышные бока и вроде бы спохватившись, звала мужа в постель, она звала всегда первая, словно выждав свою и определенную женскую минуту. Однако и перед самым сном Марья Ивановна не забывала, истому осилив, встать и посмотреть, укрыта ли и как спит Леночка. Свет на веранде вновь зажигался – на недолго. Щуря глаза, Марья Ивановна подшивала доченьке школьную форму, присев к столу и водя сонной иглой. Сергей Степанович тоже вылезал на свет *просто так*. Курил с той же целью.

А то вдруг слышался поздний стук в дверь, и забегал на минутку-три Молокаев; наскоро обсудив их завтрашние совместные дела и делишки, шутя, но и не совсем шутя, Молокаев говорил всегдашнюю присказку: «Надвигается наша погибель!» – и тыкал пальцем из уюта веранды в сторону огней высоких городских башен. Башни были далеко сначала; Москва, поглощая, расширялась незаметно и неспешно, однако после каждого по пути проглоченного поселка московские башни, удивляя, становились крупнее и выше, огни окон – ярче, ночи – светлее. Молокаевы наезжали часто; они приезжали семьей, пели здесь и пили – хорошая такая вчетвером дружба; у детей же, как водится, тоже оказался свой участок, свой, что ли, осколок их дружбы. Клавдия Молокаева пела, подражая Зыкиной. Если же вчетвером, то, как бы скрепленные тайным сговором, начинали с обязательного «Ермака», постепенно добираясь до тех и самых горьких, где

...пил солдат из медной кружки  
Вино с слезою пополам, —

и было уже поздно; детей к этому времени уложили (благо места много). Молокаевские пацан и девчонка вместе с Леночкой шептались и в темноте комнат хихикали, бегали, обливаясь водой, до минуты, когда кто-то из взрослых, входя из напеты и накуренной комнаты, цыкал: «Ну-ка, спать немедленно – сейчас же по домам отправитесь!» – и дети притихали, как мыши.

«Прогуляй, – говорит, – мою красавицу по морозу», – а выпила тогда лишнего Клавдия, пить умевшая. Бледную и вдруг белую, они, веселые, гнали ее на мороз. Якушкин встал, как и положено вставать из-за стола хозяину, неважно, пьян ли, не пьян ли. Он повел ее, придерживая за плечи; крикливее же всех торопил фальцетом Молокаев, изрядно набравшийся и не в силах встать: «Прогуляй, прогуляй мою красавицу!» Накинув на перепившую женщину пальто, Якушкин, жаркий, полушубка не набросил. Снег хрустел, тропка была узка, и Клавдия все сбивалась с шага, цепляясь. Ночь была темная, без звезд; да и отошли они шагов на пятьдесят – участок огромный. Впрочем, из окон дома доплескивался слабый свет. «Вот так и дыши... дыши глубже», – учил-советовал Якушкин. Клавдия же стала хватать его и прижиматься; она уж слишком смело пустила в ход руки, когда отошли за флигелек, за темные флигельковые окна, за разбросанные детьми там и сям лопаты. Она повалилась в снег, резко его притянув. Якушкин на ногах не удержался, однако он тут же встал и сильно, ответно резко, захватив Клавдию под мышки, рывком поставил ее на снег. «Что ты, что ты!.. это ж я – не мужик твой», – втолковывал Сергей Степанович, делая вид, что ничего такого не понял, что обозначалась она спяну и что ей, конечно, простительно. Клавдия мигом же поняла и приняла игру: «Ой, Сереженька, Сергей Степаныч, – ну боже мой, ну вот... ну вот... а теперь уже хорошо, – она охала. – Ну вот, и прогулял ты меня. Ну вот, теперь и ноги идут», – шла по тропинке она легко и почти без сбоев. Наклоняясь, прихватывала в горсть мягкий снег и терла лицо. «И ушки надо бы потереть, – приговаривала Клавдия себе самой. – И ушки обязательно...» Утром, уже из внутреннего уюта веранды, Молокаев, пальцем тыча, вновь показывал Сергею Степановичу надвигающиеся высокие дома и повторял, похмельно мрачный, что надвигается их погибель.

– Да почему же погибель? – не соглашался Якушкин.

Со сна с хрустом потягиваясь, Якушкин не соглашался; даже и настаивал – работягами, мол, пойдем в СУ, если уж и здесь город окажется. Еще и выгоднее, потому как дешевле; стройматериалы же – под рукой. Будем по-прежнему дачи строить.

– Где ж их строить-то?

– А что?

– Какие ж тебе дачи в городе! – фальцетом вскрикнул Молокаев, потирая раннюю свою лысину.

Якушкин рассудил легко:

– Мы их подальше строить будем: Москва сдвинется – и дачки сдвинутся. Денежным людям дачи станут еще нужнее.

И Якушкин прикрикнул в сторону кухни:

– Ну скоро, что ль?! – Они оба, люди не без нервов, ждали, пока женщины приготовят поутру горячее мясо и опохмел. Из флигелька мимо них уже пронесли большой вяло-багровый арбуз – Клавдия Молокаева несла миску соленых огурцов, покрытых копной укропа; молчала. Клавдия свое взяла позднее.

Как-то (мать была на работе) Леночка вернулась из школы; войдя и уже на пороге, она услышала с родительской половины плачущий и смеющийся одновременно голос: «Ой, Сереженька... Ой-ей-ей... Ну вот, ну вот», – и вроде бы притихло, а потом этот ее тонкий, чуть ли не поросячий, визгливый писк: иииии-и!.. Простота происходящего была совершенной, приущей не им – их времени. Бухало там и било что-то; поворачивалось, с поселковой простотой вдруг грохотно падая и проламывая, как падает и проламывает тяжелое тело. Леночка же ходила в своей комнате, – книжки бросившая, портфель бросившая, выйдя на кухню, она поставила чайник. У нее побаливали тогда зубы. Слепо да и смело разгуливая, Леночка к ним, неумоимо грохочущим, так и не заглянула, не поинтересовалась, даже и в рассеянности ее не привлекло – ну, возня и возня, хотя и заканчивала уже восьмой, да, восьмой класс и соответствующие фильмы не пропускала. Позднее она, конечно, припомнила и восстановила заглохшие звуки, как припоминают их и восстанавливают обычно подростки. Возникло неприятие.

Лена не принимала их жизнь не по какой-то причине и, уж конечно, не из-за тех грохотных звуков, – не осуждая и не оправдывая, она ушла именно в сторону; припоминания лишь добавляли по капле к уже существующему. Сменился уклад, если не время. Легко ушедшая в сторону (современная молодая женщина, инженер-программист), Лена и знать не желала, было там у них или не было оправданное свое бытие и свои страсти, – жизнь та была для нее жизнью прошлой, *деревенской* и даже хуже – пригородско-мещанской; в ряду бочек с соленьями, именно среди прочего, удерживался в памяти и тот чуть ли не пороссячий визг, свинство какое; такая, говорит, хорошая дружба была, работали вместе, пили и пели вместе и даже под суд пошли вместе. «Прогуляй, – говорит, – прогуляй мою красавицу по морозу».

– Папа! – Леночка еще раз окликнула; она еще и еще обошла флигелек. Никого.

Дверь флигелька, которую Якушкин, конечно же, забыл запереть, телепалась туда-сюда от ветра. Пустота отчасти уже и тревожила. Однако Леночка знала, что Якушкин сейчас в полосе молчания и, молчащий, должен быть не где-нибудь, а здесь: во флигельке. У Леночки была более или менее свежая идея (с ней она и приехала): не заставить ли отца хотя бы иногда сидеть дома с ее сынишкой, с внучонком то есть.

– Папа!..

Идея (когда она ехала сюда в электричке – идеи тоже перемещаются) росла и выросла в целый куст, нравясь Леночке все больше. Якушкин мог бы сидеть с внуком хотя бы по субботам и воскресным дням – не совсем как дед и не только в помощь. Очень могло быть, что, привыкнув (привыкание!..) и втянувшись в бытовые обязанности, отец мало-помалу впадет в нормальную старость. Любящий, он попритихнет, получив себе, пусть в нагрузку, долю живой жизни, а внук и сама идея внучатости станут на него исподволь влиять и благотворно в итоге подействуют, разве нет?.. В ожидании, отчасти же в раздражении Леночка обогнула смородину,глянула вдоль светло-серого забора, вошла, хлопнув дверью, – и вновь вышла из провонявшего старостью флигелька.

Тут ее окликнули. «Здравствуйте. Вы ведь дочка Сергея Степановича, я не ошибся?..» – послышался голос; и вот в спортивном костюме с лампасами появился из-за забора той дачи неосшибшийся сосед.

Сосед увидел Лену из окна – пришел же на помощь он охотно и быстро. Он сказал, слова подбирая, что он полон жалости и что отца Лены забрали в психушку, и что будут, кажется, лечить. Там-то и там-то находится. От длительного ожидания Лена поняла соседа не сразу – поняв, она, как бы полусонная, притихшая, заходила возле флигелька взад-вперед, сжимая виски руками: «Папа, папочка мой!..» Идея-куст, так выросшая и высветившаяся в электричке, померкла. Надо было перестраиваться, притом тут же. Лена была только Лена, и, обнажая боль кровного родства, она считала, что отец – достукался. Она считала, что попасть в психушку ему равно что и попасть вновь в тюрьму: беда как беда, и неважно, как читается на воротах беды казенная вывеска. Однако взад-вперед возле флигелька, отчаиваясь и стискивая виски руками, Лена ходила чуть позже, первое же движение было четким и вполне современным – Лена пошла следом за спортивным костюмом с лампасами и, извинившись, из увешанной коврами многокомнатной тишины (дачу перестроили, угла не узнать) позвонила – мужу.

Кто же, если в слезах и вот так застигнут, не хочет сразу – и потому Лена тоже хотела сразу кинуться за отцом и примчаться, поцеловать, если допустят, его седую голову, его безумные и вылинявшие от жизни глазоньки. Однако простое не просто, и, чтобы примчаться и поцеловать седую голову и глазоньки, нужно было такси, а такси здесь не поймаешь и не найдешь, да ведь и заломит таксист, хотя и не о том речь – сколько. Леночка позвонила мужу: приезжай срочно – она нажала на слово и сказала в телефонную трубку *срочно*, хотя с дней тех и посейчас, почти не встречаясь, они находились в вяло текущей ссоре; даже и ночевал он, вернувшийся из командировки, не дома, а у своей маман. Использовать и потребить его время, лихо домчавшись до психушки на его же машине, было разумно, адрес в руки – и молча, и, конечно,



вежливо. Это не обяжет, не станет малым даже их примирением, он довезет, а она бацнет там дверью машины и пойдет к отцу, а он со своим временем и со своей машиной пусть проваливает куда хочет, самолюбивый и положительный, эгоистичный и милый. «Папа, папочка...» – Лена плакала. Она ходила теперь возле флигелька расширяющимися кругами.

Но не ее муж. Хотя и милый, хотя и болван, однако именно сгоряча он не полезет; он станет в сторонке и будет повторять: «Я же предупреждал...» – такие вот пошли мужчины теперь, вдруг вспомнившие, что они – умные. Он и впрямь предупреждал: первый же, мол, больной, которому станет худо от якушкинских сметан и растирок и который пожалуется, окажется человеком кстати, после чего, мол, папу-папочку тут же упекут, – накаркал! Однако не конец же, и Лена не баба Глаша, законы знает: не цапают больных людей за здорово живешь. Ну, это она поищет. У них в НИИ немало людей дотошных и знающих. И юрист, кстати, на первом этаже без дела болтается, немного дурачок и глазки ей строит, что тоже кстати... Лена наконец расслышала с участка шум подъезжающей машины – быстрая, вышла, села к мужу: не сказав ни одним словом больше, назвала улицу и дом, куда ехать.

Муж вел машину и более ничего не спрашивал, умея молчать. Что умел – то умел. Тут еще и почерк: он считал (от большого ума, конечно), что сдержанностью и таким вот нудным молчаньем он много выигрывает, день ко дню набирая психологические очки в их ссоре, болван. Лена молчала. Лена тоже умела молчать. Она не сказала ему об отце именно и хотя бы только для того, чтобы не слышать, как молодой муженек, придерживая руль левой, правой рукой начнет шершаво скрестись в заднике своих джинсов, после чего, не спеша выудивший сигарету и не спеша разинувший пасть, знакомо скажет: «Я же предупреждал...»

Ему в пику Леночка, так и не шелохнув красоту обоюдного их молчания, без слова вышла из машины у больничных ворот, только там махнула рукой – проваливай, милый; пока, милый, пока. Едва машина отъехала, Леночка сбросила маску и спешно устремила в ворота – в подъезд – на лестницу. Набрав разгон, она уже рвалась в нутро психушки, не желая ни слушать, ни знать, есть ли и когда приемные часы, или часы передач, или как там по-человечески этот про свет у них называется; она только повторяла в слезах: «Папа!.. папа!..» И, конечно же, няньки и врачи, а также прибежавший на шум здоровенный медбрат (для Леночки – внеранговая мельтешня белых халатов) пропустили ее и свиданье дали, потому что она была Леночка, и потому что она была красивая и плачущая, и еще потому отчасти, что арифметика подсказывала не будоражить всех больных из-за одного. Получив пятиминутное, она через лифты и лестницы ворвалась в какой-то коридорный закуток, куда его уже привели. Он переминался с ноги на ногу: вроде как он ее здесь, в закутке, назначенно и уже давно ждал, а она опаздывала. Увидевшая его в халате и в тапочках, грубо подстриженного, она стала клясться, что вырвет его отсюда, вызовет, было тихо, и было большой неожиданностью услышать от него в ответ, что вовсе, мол, не нужно меня вызывать – инсулин полезен, я, мол, *сам* решил, что не худо бы подлечиться.

– Папа, папочка, – Лена, целуя его в вылинявшие глазоньки, плакала теперь от растерянности, а также от вида этих добровольно надетых тапок.

– Да что ты! Да перестань же, перестань, *моя* ... – Якушкин, ее успокаивая, хотел назвать, как называл в детстве: *моя*, мол, травиночка. Но он осекся и только замычал, побоявшийся лишней ее слез.

Палата была как палата и даже лучше, чем в обычной больнице, потому что сестры оказались душевнее, а няньки не грубили; конечно, ножки кроватей были привинчены к полу заметно и намертво – не сдвинуть, и тумбочки личные тоже к полу намертво, но ведь не кататься же на них. «Добрый день, – непременно и приветливо говорила сестра, входя в палату. – Как спали?» – «Спасибо. Спали неплохо», – отвечал ей Якушкин; отвечал он и за себя, и за своего, с кем делил палату, товарища.

Товарищ по палате молчал; был это задумчивый угрюмец, как выяснилось, не желавший говорить и совсем уж не желавший (боявшийся) мочиться. Судно, что предлагала нянька, он молча отпихивал, отталкивал, встать же и пойти самостоятельно тоже не желал: он боялся, что может так случиться, что из него вытечет все *до последней молекулы*, после чего он, конечно, погибнет. Он был из средней конторы с самой средней зарплатой, средних лет служащий, не богатый ни деньгами, ни родней. Он был из одиноких в большом городе: из безликих, однако с невытравленной гордыней, и Якушкин понимал, что бедняге, конечно, повезло в том, что сестры здесь душевные, няньки не орут, а если кровать и тумбочки намертво привинчены к полу, то и впрямь не кататься же на них.

Свиданья не полагались без сговора с врачом, но Леночка являлась с емкими передачами, и отец, пусть без свиданий, почти ежедневно видел ее в окно, внизу, где она с земли махала рукой и, несмотря на дождь, выстаивала и кричала неслышные беспокойные слова. «Пока, пока! иди домой, – бубнил через сдвоенное стекло Якушкин, для нее так же неслышный. – Иди... Я уж как-нибудь... Я уж *с братаном по духу*», – и, сделав отмашку рукой, Якушкин переходил от окна к кровати напротив. Отвернувшегося к стене брата на он гладил по голове, мягко, ласково, как ребенка, и довольно долго, а то и приподымал вдруг за плечи, после чего вел брата в коридор – и затем к сортиру, делая там свое дело вместе, в параллель с ним.

Няньки и врачи, да и санитары в пространстве коридора уже доверяли Якушкину. Конечно же, послеживали: видели. Хотя и грубовато, но весьма терпеливо Якушкин уговаривал – давай, мол, милый, вынимай инструмент и трудись: уверен, мол, и гарантирую, им даже клянусь тебе, что сегодня до последней молекулы все из тебя не вытечет. С ухмылкой же он пошучивал: сортир, мол, и зловещее журчание в трубах не так страшны, милый, как кажутся. При этом свободной рукой (слова словами, а дело делом) Якушкин крепенько держал больного за ухо, подчеркивая, что страхует и удерживает по крайней мере какую-то материальную, из молекул, часть тела от полного в писсуар истечения.

– А ты изобретателен, старик! – говорил Якушкину (говорил между прочим, но поощрительно) рябоватый пятидесятилетний врач по фамилии Потяничев.

Он говорил нехотя и именно между прочим и, однако, на слова свои как бы ждал ответа. Якушкин на похвалу нехотя же ему отвечал – есть, мол, немножко; стараемся.

– ...Изобретателен! – повторял, поощряя, лечащий их врач Потяничев, и теперь (можно было заметить) он не просто так повторял, а уже навязывался, впрочем, аккуратно, Якушкину в разговор, невольно вроде бы сходясь со своим больным поближе, что практикой больничной одобряется и, кроме известных случаев, идет больному на пользу.

До Потяничева, разумеется, уже дошли, и не только от рыдающей Леночки, слухи о знахарстве Якушкина, о его некоей системе, и, конечно же, у врача не мог не возникнуть и уже возник интерес и род любопытства на этот сам подвернувшийся ему случай. Кстати, у него был и повод. «Слышал я о тебе. Немало слышал...» – говорил, а потом и повторял Потяничев, насасывая таблетку (застарелый астматик).

Исключительно повода и предлога ради, на миг показав таблетку, подрагивающую на языке, Потяничев спросил, точно ли Якушкин знахарь и не вылечит ли астму. Потяничев добавил, что врачи – такие же люди. Врачи, мол, тоже болеют и тоже не все о себе знают. Он сказал эти слова вширь и немного в туман, пробуя тему и чтобы не смутить; сказал, как говорят тертые люди, за полжизни прожившие и уже сами собой допускающие разные, в том числе и меркантильные, зигзаги начатого на ощупь разговора. Якушкин все же смутился. Пообещал. Но (он никому не отказывал), пообещав, Якушкин тут же и честно оговорился: сейчас, мол, он не может и не в состоянии, не в активном, стало быть, периоде, а когда будет в активном – излечит. «Почему же не сейчас?» – настаивал Потяничев из того же разжигающегося чем дальше любопытства. В Потяничеве отчасти и профессионал был задет: врач ведь и зачем же врачу врач темнит; если же вялость Якушкина от инъекций инсулина, то Потяничев сам же

ему с ночи (был вечер) инсулин отменит. «Закавыка не в инсулине, инсулин-то мне, может, как раз полезен – просто я вялый...»

– Ах, брось ты это. «Вялый»! – передразнил, с мягким укором, Потяничев. – Ну расскажи, хотя бы на словах, как ты лечишь.

– Рассказать не могу. Вылечить могу.

Палата погружалась в сумерки; но после паузы Потяничев скоро и умело вновь выравнялся в глазах Якушкина – и как бы в чьих-то третьих, объективных глазах: чему-то он поучил и в чем-то старика приободрил; так они и сидели, не зажигая света, – Якушкин в сером и крепком халате больного и Потяничев в халате врача. Был, впрочем, и третий. Угрюмец, лежавший в своей постели, нет-нет и вслушивался в неожиданную изнанку их разговора (больной – врач, а врач – больной?) и не понимал. Вертя огурцеобразной головой, угрюмец опасливо смотрел именно на Потяничева, он не доверял ему. Он боялся, что подвох и что старик подвоха не чувствует, за что его и выгонят, – и не станет тогда в палате человека, который так ласково гладил по голове, помогая бороться с ненавистным журчаньем в сортире. Угрюмец делал Потяничеву грозную гримасу недоверия, после чего надолго отворачивал лицо к стене, потом, вслушиваясь, не выдерживал и вновь поворачивался: он жил своей жизнью. Потяничев тем временем любопытствовал, трогал мышцы рук Якушкина и спрашивал:

– Откуда у тебя силища такая, Сергей Степанович, – у старика не должно быть таких рук?

– От системы моей. – Якушкину необыкновенно понравилось слово «система», он и узнал слово из разговоров с Потяничевым, узнав же, немедленно его приобрел; прежде он именовал сумму своих надерганных отовсюду знаний громоздко и кустарно – «порядком правильной жизни».

– Ну, брось – от зубного порошка, что ли?

– Да.

– И никаких зарядок, никакой гимнастики ты не делаешь?

– Нет.

– Чудеса! – посмеивался Потяничев, а выпрашиваемый Якушкин по-человечески, молча и высокогуманно Потяничеву сочувствовал; ему было жаль врача, сколько ж лет человек потратил! и ведь учился и других лечил и так мало знает: не талантливый, бог не дал... Якушкин испытал тогда острый приступ жалости и среди разговора о системе и о кальции в чистом виде, протянув руку, погладил Потяничева по голове, как гладил боящегося истечь до последней молекулы.

Однако время шло, и Якушкин все чаще стал поглаживать не чужие головы – свою: шрам зудел.

Хотя и подспудно, активность Якушкина нарастала, и однажды он уже ввязался в долгий ночной разговор о совести с нянькой (она сидела напротив и, боясь за постель, уговаривала угрюмца сходить в судно перед сном – и плохо же просила, неумелая!); когда Якушкин заговорил – нянька так и замерла, застыла с судном в руках; замер тоже и угрюмец. Нянька слушала, рот разинув и впервые допуская, что, может быть, и правда старик немного того и, может быть, не зря его здесь лечат (а Якушкин все говорил, не останавливаясь). До этого ночного и вдруг обрушившегося разговора о совести, иначе именуемой интуицией, нянька была убеждена, что лукавый старик просто-напросто отдыхает, валяя тут ваньку и прячась, быть может, от крикливой дочки своей или же от хитростей собеса. Нянька до этого разговора считала, что именно она, толстая и больная старуха, исключительно из доброты помогает ему, тоже старому, здесь скрываться, нет-нет и свежо подыгрывая ему в его хитрой игре.

Курс инсулина был закончен; говорливость уже всюю распирала Якушкина, и, помнивший обещания, он как-то сказал Потяничеву, что пора – можно, мол, теперь поврачевать, полегчить, если по-прежнему есть охота. Потяничев, уже не ждавший, вдруг заколебался, однако сказал, что охота есть.

Якушкин осмотрел его горло. Это происходило в палате, поздним вечером.

Выяснилось, что врачеванье нехитрое и что знахарь занят процедурно не столько больным, сколько самим собой: Якушкин, предварительно покашлявший, стянул себе горло полотенцем, создавая сужение. Он едва не задохнулся, и тогда он чуть ослабил, добиваясь того, чтобы дышать не хуже, но и не лучше Потяничева – в точности так. Создавая (как именовал Потяничев) модель ночного приступа астмы, Якушкин попросил принести с улицы кирпич; тут же, правда, он заменил на полкирпича и вот уже клал себе на грудь бурую половину, примеряя и прикидывая перегруз. Потяничев наблюдал за приготовлениями с понятной улыбкой: было забавно. Сам же Потяничев и сбежал вниз, и отыскал ему этот кирпич в просторах больничного двора. Знахарь без труда и, надо признать, без шума разломил кирпич о колено.

Угрюмый сосед Якушкина спал, а медсестры, покончившие с вечерними инъекциями, не шныряли из палаты в палату, так что и Потяничев был спокоен и очень тем доволен, что разговор их – вдвоем и что действо с глазу на глаз. Перетянув себе горло и уместив полкирпича на груди, Якушкин на постели в лежащем положении пробовал говорить – басил и фальцетил, перебирая от и до, подыскивая в подмену набор звуков. Якушкин не суетился, но и не медлил; он не первый раз лечил астму – выявивший более или менее характерное напряжение связок, он выудил наконец из гортани звуки и велел Потяничеву произнести, убыстряя, *трактор трещал ах-ох-ух-ох*. Тот произнес. Потом произнес вновь: шепотом. Якушкин попросил, чтобы с хрипом, – произнес и с хрипом. «Двести раз в день повторять», – сказал Якушкин. «Как долго?» – «Неделю-две». И чем ближе, мол, к вечеру, к ночному приступу, тем повторять чаще. В подмогу он дал Потяничеву, обучив пользованию, дыхательную смесь. Все еще забавляясь, Потяничев спросил – что за смесь? что, мол, за основа и что входит в состав? Старик же ответил, что туда входит много чего. «И мумие есть?» – «И мумие есть. Ты не спрашивай лучше. Ты лучше лечись». Утром Потяничев выписал Якушкина домой. Особенно же Потяничева забавляло и умиляло, что знахарь, светлый лицом, велел ему не думать о сложных, если сложные, отношениях с начальством, не думать о зарплате и не думать о квартирном вопросе. «Живи хотя бы одну неделю так». – «И о зарплате, значит, не думать?» – «Ни в коем случае. О детстве думай. О матери».

Через три дня Потяничев, как и было условлено, ближе к ночи явился к Якушкину во флигелек, где старик сначала и без спешки напоил его чаем, а затем, совсем уж медлительный, уложил Потяничева на раскладушку вблизи себя. Потяничев леживал и ждал. Якушкин приборматывал свою ахиною и тоже ждал.

В шаге от приступа, прислушивающийся к череде и нарастанию спазмов, знахарь увязал себе горло полотенцем, вторым же полотенцем, взамен того полукирпича, сдавил себе грудь. Сев на табурет рядом, он давал лежащему Потяничеву нюхать дыхательную смесь примерно на каждый третий вдох. Потом на каждый второй. В пик приступа и скорее, чем Потяничев ожидал, возникла недостаточность, он начал задыхаться и просить: «Хватит-хватит-хватит...» – но выяснилось, что Якушкин, присевший возле, намертво удерживает его в железных своих лапах, не давая Потяничеву ни встать, ни даже приподнять головы! Дышать же было нечем. Удерживая, Якушкин еще и успевал движением пальцев подносить к ноздрям лежащего едкую смесь на каждый теперь вдох. Потяничев задыхался; он забился, вздергивая ногами. «Лежи, су-у-ка!» – рывкнул Якушкин, отчего оконные стекла флигелька, дрогнув, задребезжали. Потяничев бился теперь и метался, выгибая спину, однако голова его оставалась на подушке, как припаянная, и облегчить жуткое свое положение он не мог. Он хватал ртом воздух. «Дыши, говорю!» – вновь рывкнул Якушкин, Потяничев же впал в поплывшее и вдруг неотчетливое состояние. Было полутемно.

В свете настольной лампы худое длинное тело знахаря отбрасывало тень, и боковым, единственно возможным зрением Потяничев, кроме зловещей тени, ничего не видел. С повязанным на горле полотенцем старик был как нежить из чужого кошмара, он хрипел: «Я же

терплю!» – терпи, мол, и ты, но ни равенство (их глоток), ни жесткий смысл терпения в этом равенстве не доходили до Потяничева; хриплые его приказы он слышал, как слышат во сне или из сна. Приступ миновал. Знахарь дал Потяничеву встать и дал отдышаться; скоро похлопотав, он сунул ему в руки чашку со слабенько заваренным зверобоем. Потяничев прихлебывать из чашки не хотел, не мог, однако прихлебывал, он был вял, он сделался лишенным маломальской воли, желая только одного – уйти. «Потерпи, родной, знаешь ведь, приступ сейчас повторится», – уже иным и мягким голосом уговаривал его Якушкин, тоже на время расслабивший на своей глотке полотенце и отдувавшийся. Едва Потяничев стал прихватывать воздух (приступ накатывал), знахарь уложил его вновь, вновь же стянул свою глотку. Теперь он стянул вторично и туже, глаза знахаря выкатились, он не хрипел, а сипел.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.